

ФРЭНК Р. АНКЕРСМИТ

Репрезентативная демократия

Эстетический подход к конфликту и компромиссу

Исторический подход к политическим системам предполагает, что каждая из них носит на себе отпечаток той специфической проблемы, которую она была призвана решить; иными словами, всякую политическую систему можно считать ответом на необходимость решить некий насущный вопрос. Если мы хотим понять природу какой-либо из ныне существующих политических систем и определить, на что она способна (или неспособна), нам следует выявить — хотя бы предположительно — ту политическую или социальную проблему, на решение которой была изначально нацелена данная система. Это важно потому, что первичный импульс, как это ни странно, в очень большой мере определяет — и будет определять — особенности функционирования, характер реакций и, условно говоря, «политическую психологию» рассматриваемой системы.

Я несколько не претендую на оригинальность намеченного подхода к анализу политических систем. Однако, как это ни странно, ни один политолог-теоретик (по крайней мере, насколько мне известно) никогда не исследовал природу репрезентативной (представительной) демократии, взяв за исходный пункт вопрос о том, какую политическую проблему она была изначально призвана решить; а ведь без этого нельзя понять, до какой степени характер наших современных демократий все еще определяется этой проблемой. Вероятно, наличие указанной лакуны объясняется тем, что мы склонны видеть в таких стародавних политических системах, как, скажем, феодализм или абсолютная монархия, наивные и во многом причудливые эксперименты тех эпох, которые представляются нам весьма отдаленными и несравненно менее политически зрелыми, чем наша: нам кажется, что все эти системы утратили право на существование, как только — в восемнадцатом-двадцатом столетиях — была изобретена (или заново открыта) демократия. Подобно тому как Ньютон, Лавуазье и Максвелл примерно в это же время заложили основы современной науки и предложили то видение мира, которое до сих пор представляется нам в общем вполне приемлемым и к тому же доказавшим свою эффективность в качестве отправного пункта для всех дальнейших научных исследований, так и демократия воспринимается нами как некое неоспоримое решение всех возможных политических проблем, с которыми когда-либо сталкивалось и будет сталкиваться человечество. Нет нужды доказывать, что такой подход является весьма наивным. Ибо если бы европейцы попытались

решить вопросы общественной безопасности, вставшие перед ними в девятом-десятом веках, или проблемы, порожденные религиозными гражданскими войнами семнадцатого столетия, при помощи репрезентативной демократии, перечень постигших их бедствий стал бы от этого не короче, а длиннее (вероятнее всего, он увеличился бы до катастрофических размеров).

Необходимо осознать, что представительная демократия также — не в меньшей мере, чем любая другая политическая система, пускай забытая, осмеянная или наводящая ужас, — является продуктом совершенно уникального и специфического стечения исторических обстоятельств и должна рассматриваться соответствующим образом. Если мы совершим путешествие во времени и вернемся в Европу периода Реставрации, вступившую после падения Наполеона в эпоху романтизма, то увидим, что тогдашние политики континентальной Европы боялись гражданской войны не меньше, чем их предшественники два столетия назад, в период религиозных войн. Как и в семнадцатом веке, одна часть населения была проникнута смертельной ненавистью к другой. В эпоху религиозных войн этими «частями» были протестанты и католики. После 1815 года население разделилось по признаку приверженности какой-либо из двух «секулярных религий», то есть по идеологическому принципу. С одной стороны, многие верили, что социально-политическая революция была прервана в 1794 году насильственно и что она должна быть продолжена, как только для этого возникнут благоприятные условия. С другой стороны, многие дворяне и представители высшего слоя буржуазии с ностальгическим чувством вспоминали предреволюционный («старорежимный») социальный порядок и проявляли готовность сделать все, что было в их силах, для предотвращения дальнейших революционных экспериментов или, возможно, даже для восстановления прежнего режима. (Между этими двумя крайними группировками располагались, как водится, промежуточные слои населения, представленные в каждой из стран Западной Европы в разных пропорциях в зависимости от специфических условий, сложившихся в том или ином регионе).

Каким бы беглым и огрубленным ни был этот обзор, из него явствует, что конфликт, определявший ситуацию в постнаполеоновской континентальной Европе, существенно отличался от конфликта, переросшего в религиозные гражданские войны. Конфликт, обострившийся в семнадцатом веке, носил такой характер, что в ответ на него едва не сформировалось государство как институция, абсолютно не зависящая от общества. Потребность в возвышающемся «над схваткой» независимом арбитре была настолько велика, что даже если государство и вставало на сторону одной из противоборствующих религиозных сторон, этот факт не в силах был подорвать веру в отстраненность верховной власти от общества. Абстрактно говоря, государство могло быть тогда не только втянуто в религиозный конфликт, но и рухнуть вместе с враждующими сторонами в ходе безжалостной войны на уничтожение. Интересно, однако, что реальные события никогда не развивались по этому сценарию (хотя в годы, предшествовавшие восхождению на престол Генриха IV, Франция очень близко подошла к этому опасному рубежу). Считается, что религиозная война разорвала Германию на куски; тем не менее, в каждом из княжеств, возникших в результате соглашения 1648

года, государство ощущало себя не менее победоносным, чем любое другое на континенте. Даже в тех случаях, когда государство на практике отождествляло себя с одной из враждующих религиозных сторон (вследствие чего его союзники занимали в стране привилегированное положение), оно все же не опускалось до уровня этой стороны; поэтому, каким бы ни был исход конфликта, государство — как независимая и автономная политическая целостность — в любом случае только выигрывало. Это обстоятельство объясняет сразу две вещи: почему конечным результатом противоборства почти неизбежно должно было явиться создание абсолютной монархии и почему различие между гражданским обществом, с одной стороны, и государством, которое последовательно освобождало себя от гражданского общества, с другой, постепенно стало казаться самой сутью дела. Один из главных парадоксов политической истории Запада в том и состоит, что абсолютная монархия и система, основанная на различии между государством и гражданским обществом, имеют общее происхождение и подчиняются одной и той же политической логике, так что есть все основания утверждать, что мы никогда не имели бы последней («преддемократии») без первой (монархии). Уже по одной этой причине нам следовало бы относиться к абсолютной монархии хотя бы немного снисходительнее, чем мы склонны это делать.

Как бы то ни было, конфликт, определявший ситуацию после 1815 года, отличался от конфликта семнадцатого века тем, что государство не могло больше выступать в роли нейтрального арбитра, стоящего над противоборствующими сторонами. Ибо государство само стало главным трофеем, на который мог рассчитывать победитель. Революционеры, либералы, консерваторы, бонапартисты — словом, все, кого ни возьми, — вели теперь борьбу за контроль над государством, и это была проблема, которая, что совершенно очевидно, не могла быть решена самим государством. Европа столкнулась с политической проблемой, в остроте и чрезвычайной жизненной важности которой никто не сомневался; но это была проблема, не поддававшаяся решению при помощи имевшихся в наличии политических механизмов. Таким образом, проблема представлялась неразрешимой. Одно из логически возможных решений состояло в том, чтобы позволить трещине, которая разделила общество на две части, перейти также и на уровень государства; но разделенное государство могло только ускорить начало назревавшей гражданской войны (и уж никак не могло ее предотвратить). Если бы был реализован этот сценарий, ситуация сделалась бы действительно похожей на ту, которая сложилась перед началом религиозных войн два столетия назад, — с той только разницей, что разделенное государство уже не смогло бы сыграть роль *deus ex machina*¹ и снова, как прежде, вытянуть общество из политической трясины. Альтернативная возможность заключалась в том, чтобы примириться со сдачей государства под контроль одной из враждующих партий, — но что могло при таком решении гарантировать другим партиям, что с их интересами будут в должной мере считаться? Все те (довольно значительные) силы, которые накопило государство в период своей абсолютистской юности, могли в таком случае быть использованы той партией,

¹ *deus ex machina* (лат.) — бог из машины.

которой удалось бы завладеть им, против ее врагов. Неизбежным результатом такой стратегии тоже могла явиться только гражданская война. Короче говоря, политическая проблема, вставшая перед европейцами в эпоху Реставрации, была проблемой нахождения квадратуры политического круга.

Изобретенная в это время парламентская репрезентативная демократия как раз и явилась такой находкой: только эта политическая система оказалась способной предотвратить погружение Европы в кошмарную череду новых битв, революций и идеологических войн. Сердцевину этого решения составила так называемая политика *juste milieu*², которую мы обычно ассоциируем исключительно с именем Гизо, но которая фактически концентрирует в себе основные особенности политической ментальности постнаполеоновской Западной Европы. Политики того времени уже осознали, что было бы непрактично бороться за консенсус; пропасть между двумя враждующими идеологиями была оценена ими (совершенно правильно) как слишком широкая и глубокая, чтобы надеяться на успех. Более серьезные размышления потребовались от них для того, чтобы понять, что реальный политический вызов времени состоял не в том, чтобы добиться консенсуса; вместо этого необходимо было вывести квадратуру политического круга, то есть предпринять действия, которые, с одной стороны, обеспечили бы предотвращение гражданской войны, а с другой, не посеяли бы семена новой череды войн. Решение лежало в плоскости компромисса, а не в плоскости консенсуса. Политическая логика компромисса требует сотрудничества (реального, на уровне поведения), в отличие от соглашения (идеологического по своей природе), а смысл задачи в том и состоял, чтобы — в условиях, когда люди исповедовали радикально различные взгляды и были преисполнены решимости добиться их осуществления, — перенести центр тяжести с идеологии на поведение. Неоценимый выигрыш от выбора принципа компромисса состоял в том, что люди могли теперь чувствовать себя (более или менее) в безопасности под одной политической крышей с оппонентами, которые всего несколько лет назад с удовольствием засадили бы их за решетку или отправили на гильотину. Репрезентативная демократия проявила себя как политическая система, наилучшим образом приспособленная для достижения компромисса, и многочисленные революции, прокатившиеся в девятнадцатом веке по континентальной Европе, только упрочили волю ответственных государственных деятелей к компромиссу: все здравомыслящие люди убедились в том, что компромисс и репрезентативная демократия являются единственными средствами, дающими возможность избежать сползания к перманентной гражданской войне.

Для нас, наследников политики *juste milieu*, этот вывод, сделанный на основе великого достижения начала XIX века, звучит как трюизм. Однако необходимо иметь в виду, что идея компромисса по вопросу о базовых политических принципах первоначально воспринималась как почти столь же революционная, как сама революция 1789 года. Ведь фактически компромисс означал принятие идеи *принципиальной непринципиальности* поколением, которое всего пару лет назад без малейшего колебания пошло бы на смерть и на убийства ради этих самых принципов. Алексис де Токвиль, например, ² *juste milieu* (фр.) — золотая середина.

так никогда и не смирился с этой, на его взгляд, извращенной и достойной всяческого презрения политикой (факт, не имеющий существенной связи с консерватизмом Токвиля, ибо подобную позицию занимали и мыслители левой ориентации – такие, как Альфонс де Ламартин). Презрение Токвиля и Ламартина к политике *juste milieu* и к Июльской монархии (это чувство нашло самое совершенное воплощение в Жюльене Сореле, герое «Красного и черного» Стендаля) ярко демонстрирует, как трудно было европейцам, жившим двести лет назад, приспособиться к политической системе, при которой с самыми основополагающими, возвышенными и дорогими сердцу принципами обращались так, словно речь шла о торговле на предмет стоимости дома или мешка картошки.

На помощь пришло чувство историзма. Именно оно послужило основой для реализации тех потенциальных преимуществ, которых ожидали от политики *juste milieu*, – по двум фундаментальным причинам. Во-первых, политики, исповедовавшие *juste milieu*, понимали, что идеологии, которые они пытались принудить к мирному сосуществованию при помощи компромисса, были продуктами революционного и предреволюционного прошлого Европы: трезвое осознание этих исторических реалий было поэтому главным условием успеха всего задуманного ими предприятия. Настоящее и будущее нации могло быть построено только на фундаменте историзма, и поэтому каждый серьезный политик того времени должен был стать также и историком. Во-вторых, существовало и методологическое сходство между политикой *juste milieu* и тем, как пишут историю. Воля к компромиссу требует способности трансцендировать текущую политическую борьбу (предполагающей умение увидеть себя со стороны) и воли к соблюдению адекватной меры непричастности. Развитие исторического мышления в начале девятнадцатого века привело к осознанию того, что историк может добиться объективности в своем отношении к прошлому только в том случае, если он не идентифицирует себя с какой-либо из враждующих сторон, и лишь в той мере, в какой ему это удастся. В этом смысле не будет большим преувеличением сказать, что в эпоху Реставрации политики стали историками, а историки применили политику *juste milieu* к своему роду деятельности. Поэтому неудивительно, что политики, приверженные принципу *juste milieu* (такие, как Руайе-Коллар, Ремиза, Барант, Тьер, Гизо или Констан, если ограничиться Францией), часто являлись и блестящими историками; нас не должно удивлять и то, что историки, в свою очередь, не испытывали особых затруднений, выступая по вопросам текущей политики; благодаря этому политические дебаты отличались в то время глубиной и проникновенностью, которые, к сожалению, исчезли из политической жизни нашего времени. Мы смирились с ситуацией, при которой политические дебаты ведутся на уровне, не предполагающем сколько-нибудь широкого кругозора; обсуждаемые решения ориентированы ныне не на масштабное видение перспектив, а на бюрократическую технологию.

Мы привыкли рассматривать нашу демократию как продукт Просвещения, и для этого есть серьезные основания. Но чему Просвещение не могло нас научить и чему мы обязаны политическому романтизму – то есть эпохе Реставрации и политике *juste milieu*, – так это способности достигать хоть какого-то (пускай очень зыбкого) мирного сосуществования в обществе, где

взгляды разных слоев населения на политические принципы радикально различны, и даже использовать это разделение на благо всем сторонам (партиям). Именно политический романтизм приучил нас к благословенной принципиальной непринципиальности, которая столь необходима для репрезентативной демократии в целом: ведь это она дала возможность странам западноевропейского континента избежать затяжных конфликтов между принципиальными сторонниками революции и столь же принципиальными приверженцами старого режима. Через несколько десятилетий, когда наметилось не менее опасное столкновение между капиталом и трудом, ментальность *juste milieu* снова позволила народам Западной Европы пережить этот потенциально губительный конфликт, оставшись, по большому счету, целой и невредимой. Ничто не может послужить более убедительным доказательством беспрецедентной способности репрезентативной демократии решать проблемы, кажущиеся неразрешимыми.

Как заметил Карл Шмитт в своем «Политическом романтизме» (1919 год), ментальность эпохи Просвещения, отличавшаяся ясностью, прозрачностью и статичностью, была прямо противоположна принципиальной непринципиальности парламентской демократии. Только романтизм, с его уважением и тягой к многозначности, парадоксальности, противоречиям и контрастам, был способен создать интеллектуальный климат, при котором могла расцвести парламентская демократия. Мы проявили вопиющую несправедливость к политическому романтизму, когда поддались тенденции сводить его к националистическому пафосу или к эксцессам утопического социализма; и эта несправедливость проявилась прежде всего в том, что мы начисто забыли о его вкладе в создание политической ментальности, необходимой для нормального функционирования представительной демократии.

Амбивалентный король

Утверждение, что парламентская (представительная) система возникла в постнаполеоновской континентальной Европе в романтическом климате, находится в разительном противоречии с одним из немногих общепринятых и никем не оспариваемых постулатов о происхождении современной демократии. Разве нам всем не втолковывали в школе, что английский парламент — это «прародитель всех парламентов» и что в восемнадцатом веке в Британии возникла политическая система, которая послужила моделью для всех последующих парламентских демократий? И разве сами теоретики *juste milieu* и политики того времени не поглядывали через Ла-Манш, не только соперничая с британской демократией, но и равняясь на ее достижения? Более того, нетрудно было бы доказать, что наиболее успешная в мировой истории демократия — Соединенные Штаты Америки — была создана «отцами-основателями» на всецело просветительском фундаменте.

Было бы глупо отрицать весомость этих аргументов. Однако проблема континентальной Европы — проблема стран, разъедаемых внутренними противоречиями, — не была сколько-нибудь актуальной для Англии и являлась сугубо второстепенной в глазах составителей американской конституции. Ни в Англии, ни в Соединенных Штатах люди не боролись *друг с другом*

за право контролировать государство; они боролись *вместе*, чтобы удержать полномочия исполнительной власти в приемлемых рамках. То, что в ходе борьбы отбиралось у короля или у президента, переходило во владение представительского корпуса, который противостоял исполнительной власти. В Британии и во многих государствах, имитировавших ее политическую систему, власть, сконцентрированная в лице монарха, до сих пор опирается на двухпартийную систему, так как обычно одна из партий получает необходимое большинство (не вступая в коалицию) в парламенте. Исходя из логики британской демократии, партия, находящаяся у власти, может считаться наследницей абсолютной монархии; по отношению же к континентальным демократиям такого рода утверждение было бы бессмысленным. Похоже, у нас вошла в привычку склонность упускать из виду, что британская и американская демократии ближе к абсолютной монархии, чем континентальные системы правления; возможно, это произошло под влиянием Токвиля, который был весьма убедителен и красноречив, когда демонстрировал в «Старом режиме и революции» характерную для Франции преемственность между монархией и революционным правлением (и связанной с ним демократией). Но логика этих систем различна; более того, различие между ними носит кардинальный и последовательный характер. Англосаксонская демократия столь монархична и «монистична» в своей основе, что если бы ей пришлось иметь дело с большим количеством маленьких партий, как это зачастую случается в континентальных демократиях, государство было бы полностью дезориентировано, как если бы оно было абсолютным монархом, который желал бы достижения нескольких несовместимых целей разом, будучи не в силах сделать между ними выбор. В англосаксонской модели демократии принципиальная непринципиальность континентальных демократий была бы воспринята как патологическая амбивалентность.

Но даже если считать доказанным, что англосаксонская версия представительной демократии не смогла бы разрешить тот острый внутренний конфликт, который разрывал европейский континент на куски после 1815 года, остается открытым вопрос о том, несут ли проблемы, стоящие перед нашей социально-политической системой сегодня, тот же характер, что и те, для решения которых была изобретена континентальная, основанная на коалициях демократия. Ибо одной из самых характерных особенностей наших текущих проблем является то, что они больше не коренятся в противостоянии одной части населения другой, как это было в случае конфликта между идеалами революции и старого режима или между трудом и капиталом. Наши современные проблемы – это в основном проблемы, которые касаются нас всех в равной мере и более или менее одинаковым образом. Прежде всего следует осознать, что все мы в такой же степени создатели этих проблем, в какой и их жертвы. Коснемся для примера вопроса о «пробках» на транспорте, который является в каком-то смысле идеальным образцом для демонстрации политических проблем нового типа. Попадая в своей машине в пробку, мы ощущаем себя парализованными той проблемой, которую сами же и создаем. Отметим в связи с этим, что новые социально-политические проблемы, как правило, представляют собой непредусмотренные последствия наших же решений. Мы изобрели автомобиль и построили до-

роги, чтобы увеличить свою мобильность, а в результате попадаем в затор; мы желаем достойного социального обеспечения и более высокой заработной платы, а предпринятые для достижения этой цели меры порождают безработицу. Тем не менее, подобные проблемы не делят общество на непримиримые враждующие станы, как это было в случае традиционных политических проблем. Они больше не поляризуют общество (электорат) в целом.

Если наши текущие проблемы кого-нибудь и поляризуют, так это нас самих: каждый гражданин становится амбивалентным королем. Переход от монархии к репрезентативной демократии решил проблему жесткого социального конфликта путем его интернализации — локализации внутри парламента, настроенного на компромисс. Похоже, что ситуация, в которой мы находимся сегодня, свидетельствует о переходе от представительной демократии к новой политической системе, поскольку конфликт теперь локализуется в индивидуе. В самом деле, мы ежедневно узнаем из газет о фактах, свидетельствующих, что наша репрезентативная демократия не располагает средствами для разрешения политических проблем, которые коренятся не во внешних конфликтах. Об этом говорит наше стремление рассматривать подобные проблемы как чисто технические. Мы ищем путей достижения цели, которая не осознается как таковая, и игнорируем реальные политические проблемы, касающиеся желательности (или нежелательности) выдвижения именно этой цели. Отсюда возникает парадокс: с одной стороны, наши текущие политические проблемы стали гротескно «демократическими» — в том смысле, что мы все сталкиваемся с ними более или менее одинаковым образом, с другой стороны, выясняется, что наши демократии не умеют справляться как раз с «демократическими» проблемами (по крайней мере такого типа). Возникает подозрение, что демократия лучше приспособлена для решения аристократических проблем, то есть унаследованных от нашего аристократического прошлого вопросов, так или иначе касающихся социального неравенства. В таком случае возникает вопрос: не сталкиваемся ли мы здесь с общей закономерностью? Не обстоит ли дело таким образом, что политические системы лучше приспособлены для решения проблем, созданных предшествующими системами, оставаясь относительно слепыми по отношению к тем проблемам, которые они создают сами?

Если это так, то есть основания полагать, что англосаксонские демократии будут испытывать меньше трудностей в разрешении политических проблем нового типа, чем их западноевропейские «коллеги». Первоначальный вызов, в ответ на который сформировались англосаксонские демократии, состоял в проблеме прерогатив исполнительной власти; а вызов, брошенный континентальным демократиям, заключался в проблеме государства, которое должно было решить парадоксальную задачу: одновременно и зафиксировать политическую поляризацию, и примирить оппонентов друг с другом. С формальной точки зрения политические проблемы нового типа имеют большее сходство с теми, которые послужили первоначальным вызовом англосаксонской демократии, чем с проблемами, в ответ на которые возникли континентальные политические системы. Ибо в обоих случаях — в случае наших текущих сложностей и задач, стоявших перед британской и американской демократиями на первоначальном этапе их развития, — проблема стоит

перед всеми гражданами более или менее одинаковым образом; борьба по вопросу о прерогативах королевской или президентской власти была, образно говоря, борьбой, которая шла на *конституционной периферии*. В этом смысле показательно, что такого рода борьба вызвала гораздо меньшую политическую поляризацию в Англии в 1688 году (и в последующие годы) и в Соединенных Штатах в период между 1776 и 1787 годами, чем то расслоение, которое возникло в западноевропейских обществах после 1815 года. Что же касается англосаксонских демократий, то хотя их политическая машинерия, судя по всему, лучше приспособлена для решения вышеуказанных политических проблем, похоже, они в меньшей мере, чем континентальные демократии, склонны вообще видеть здесь политические проблемы. В то время как континентальные демократии имеют повышенную чувствительность к тому, как эти проблемы (существенно демократические по своей природе) порождают конфликты в сознании индивидуального гражданина и так или иначе (скорее всего беспомощно) реагируют на них, подобной чувствительности не стоит ожидать от двухпартийных демократий по причине их откровенного безразличия к проблеме политического конфликта и его разрешения. В целом можно сказать, что англосаксонские демократии ведут себя неадекватно по отношению к политическим проблемам нового типа, с которыми мы сталкиваемся сегодня, потому что они вообще не видят здесь политических проблем; а континентальные демократии проявляют неадекватность потому, что проблемы этого типа плохо поддаются урегулированию при помощи имеющихся в их распоряжении механизмов. Таким образом, главная задача наших сегодняшних демократий — как англосаксонской, так и континентальной — состоит в том, чтобы реформировать самих себя с тем, чтобы обрести способность опознавать и разрешать политические проблемы нового типа, возникшие за последние десятилетия. Если они и дальше будут оставлять гражданина наедине с его трудностями, предоставляя ему вместо лекарств болеутоляющие средства, наши демократии долго не протянут: либо они адаптируются к сложившейся ситуации, либо окажутся не у дел.

Эстетика политической репрезентации

Теперь самое время сосредоточить внимание на основополагающих принципах. Мы привыкли называть нашу политическую систему *репрезентативной демократией*. Демократию, в смысле народоправства, можно обнаружить уже в классических Афинах. Но античная демократия была прямой демократией, не предполагавшей никакого представительства (неудивительно, что Ханна Арендт и ее единомышленники находили эту особенность древнегреческого полиса чрезвычайно привлекательной). Представительство — это средневековое понятие: на ассамблеях трех сословий, которые король созывал, когда считал это нужным, дворянство, духовенство и «третье сословие» были именно *представлены* (*репрезентированы*). Но такого рода ассамблеи никоим образом не могут считаться средневековым экспериментом с демократическими формами правления. Отсюда вывод: как демократия не имеет необходимой внутренней связи с представительством (репрезентацией), так и репрезентация не имеет внутренней связи с демократией. Чудо репрезен-

тативной демократии в том и состоит, что она, тем не менее, преуспела в сочетании этих двух абсолютно различных концептов (добилась бракосочетания Афин со средневековой Европой); нет нужды доказывать, что сделать это можно было только творческим путем. Чтобы понять суть того, что произошло тогда и, соответственно, перед каким выбором мы стоим сегодня, лучше всего обратиться к эстетике. Нам предстоит убедиться, что по большому счету только эстетический подход к политике благоприятен для мира – как во всем мире, так и в умах отдельных граждан.

Репрезентация – это понятие, позаимствованное из эстетики. В данном контексте для нас представляют особый интерес две концепции природы эстетической репрезентации: теория репрезентации как сходства и теория репрезентации как замещения. Согласно первой теории, репрезентация должна быть похожа на то, что она репрезентирует. Я вижу три основные трудности в этой теории, столь привлекательной на первый взгляд. Прежде всего, как это показала история визуальных искусств, не может быть найден общепринятый критерий сходства. Ибо каждый стиль в истории искусства можно рассматривать как манифестацию нового видоизменения этого критерия. А какая может быть польза от понятия сходства при отсутствии критерия самого сходства? Во-вторых, как было указано Нельсоном Гудмэном, теория сходства легко приводит нас к абсурду. В самом деле, если мы имеем перед глазами (1) Бленхеймский дворец³, (2) картину с изображением этого дворца и (3) портрет герцога Марлборо, теория сходства будет толкать нас к тому, чтобы мы сочли репрезентацией дворца (1) скорее картину (2), чем портрет (3). Но картины похожи одна на другую больше, чем на то, что они репрезентируют: кусок холста с пятнами краски на нем напоминает другой такой кусок холста гораздо больше, чем огромное здание в Оксфордшире. В-третьих, поскольку слова и предложения не могут быть похожими на то, о чем в них говорится, теория сходства неприменима к языку как посреднику между реальностью и ее репрезентацией, из чего следует (хотя это в корне противоречит нашей непосредственной интуиции), что мы не вправе говорить, например, о репрезентации прошлого в книгах по истории.

Согласно теории замещения (отстаивавшейся первоначально Эдмундом Берком, а в недавнее время Эрнстом Гомбричем и Артуром Данто), наилучшим ключом к пониманию природы репрезентации может послужить этимология. Произвести (ре)презентацию – значит сделать (повторно) присутствующим то, что (сейчас) отсутствует. Говоря более формальным языком, А есть репрезентация В, если А может занять место В – или, иначе, если А может функционировать как «заместитель» В или как «представитель» В в его отсутствие. Слова и вербальные тексты не представляют проблемы для этой теории: мы можем сказать, что историография компенсирует отсутствующие реалии прошлого и представляет за них. При этом мы не обязаны беспокоиться о критерии сходства, так как теория замещения не требует, чтобы репрезентация обладала сходством с тем, что она репрезентирует. Тем не менее, в некоторых случаях (например, в визуальных искусствах) сходство (как бы его ни определяли) может помочь удостовериться нас в том, что

³ Бленхеймский дворец был родовым имением герцога Марлборо. – Прим. перев.

В должным образом замещает А. При таком подходе теория сходства может рассматриваться как частный случай более общей теории замещения.

Не так уж трудно спроецировать полученные выводы на феномен политической репрезентации. Теория сходства применительно к политической репрезентации — это та теория, которую мы принимаем интуитивно. Согласно этой концепции, взгляды представителей электората должны быть такими же, как взгляды самого электората. Теория сходства была великолепно охарактеризована антифедералистами в ходе дебатов об американской конституции:

«Сам термин *репрезентативный* предполагает, что человек или группа лиц, выбранных для этой цели, должны быть *похожими* на тех, кто их выбрал, — они должны стать репрезентацией народа Америки, если выбраны правильно; они должны быть *такими же*, как этот народ. ... Они представляют собой знак, а народ — то, что этот знак обозначает. ... Поэтому должно соблюдаться следующее условие: люди, поставленные вместо народа, должны контролировать свои переживания и чувства и руководствоваться не ими, а своими интересами; иными словами, они должны обладать максимальным сходством с теми, кого они замещают»⁴.

Федералисты были озабочены эгалитарным подтекстом этой концепции политической репрезентации. Поэтому они стремились убедить своих оппонентов-антифедералистов, что отказ от принципа идентичности между репрезентируемым и репрезентирующим ни в коей мере не означает возвращения к аристократическим концепциям:

«Кто будет выбирать федеральных представителей? Не богатые за счет бедных; не ученые за счет невежд; не наследники знатных фамилий за счет скромных потомков лиц с темным прошлым, к которым фортуна была неблагосклонна. ... Кто может быть избран народом? Любой гражданин, чьи достоинства заслужили уважение и доверие людей, живущих там же, где и он. Мы не должны позволить, чтобы богатство, происхождение, вероисповедание, или гражданская профессия кандидата исказили мнение о нем или подорвали доверие к нему народа»⁵.

Джеймс Мэдисон естественным образом вывел из этого идеала репрезентации, что гражданин и его представитель не только *могут*, но и *должны* отличаться друг от друга — в той мере, в какой мы вправе ожидать от последнего большей политической мудрости. Ибо одной из главных целей политической репрезентации является выбор лучших и мудрейших кандидатов, которым предстоит такая важная и ответственная миссия, как репрезентация народа в управлении страной.

Как это ни странно, антифедералисты не нашли убедительного ответа на этот аргумент. Хотя он с очевидностью напрашивается: идентичность, которая имеется в виду при политической репрезентации, — это идентичность взглядов, а не персон; поэтому никакого нарушения принципа идентичности не будет в том, чтобы послать в конгресс «лучших людей», но при том условии, что они будут выражать — в точности и без малейших отклонений — политические взгляды тех, кого они представляют. В конце восемнадцатого века господствовало убеждение, что личные качества, социальные роли и взгляды политиков взаимосвязаны самым тесным и непротиворечивым

⁴ Цитируется по: Bernard Manin. *The Principles of Representative Government*. [Бернард Манин. Принципы репрезентативного правления.] Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 110.

⁵ Ibid, 115.

образом; а идея общего пирога политических взглядов, от которого каждый может отщипнуть приглянувшийся ему кусок, принадлежит более позднему и совершенно иному политическому сознанию. Что же касается теории замещения применительно к политической репрезентации, то она, как и аналогичная идея в эстетике, была сформулирована Берком. В письме 1774 года своим избирателям в Бристоле Берк ответил сразу на два вопроса: во-первых, в чем состоит ложность теории сходства, и, во-вторых, какой вид политической репрезентации является (по его мнению) наиболее предпочтительным. Парламентский представитель, пишет Берк,

«не должен жертвовать ради вас, ради отдельного человека или какой-либо группы людей, своим продуманным мнением, зрелым суждением, просвещенным сознанием. ... Эти качества предназначены не для того, чтобы доставить вам удовольствие; они не вытекают ни из закона, ни из Конституции. Они — знак доверия к вам Провидения, перед которым каждый должен будет держать ответ за измену себе. Ваш представитель должен служить вам не только с прилежанием, но и с умом; и он предает вас, а не служит вам, если жертвует своими суждениями ради ваших мнений. ... Высказывать свое мнение — право каждого; мнение избирателей — это весомое и заслуживающее всяческого уважения мнение, которое представитель народа всегда должен вслушиваться с радостью и которое он всегда должен со всей серьезностью принимать во внимание. Но давать народному представителю *авторитарные* инструкции, выраженные в форме *мандатов*, которые ему надлежит слепо и беспрекословно выполнять, то есть голосовать определенным образом и отстаивать определенные мнения, даже если они явно противоречат его продуманным взглядам и его совести, — значит совершать действия, в корне противоречащие законам этой страны и проистекающие из фундаментального непонимания буквы и духа нашей Конституции»⁶.

Подобно тому как произведение искусства обладает определенной автономностью по отношению к тому, что оно репрезентирует, так и народный представитель в парламенте обладает независимостью, или автономностью, по отношению к избирателям, направившим его в Вестминстер.

Иными словами, существует параллель между гранью, отделяющей художественную репрезентацию от того, что она репрезентирует, и гранью, отделяющей депутата от избирателей в политике. Мы должны понять, что подобные «зазоры» вовсе не обязательно служат признаком какого-то противоречия, искажения или ошибки. Более того, при определенных обстоятельствах допущение того или иного искажения или даже преднамеренно ложной репрезентации, по-видимому, может быть оправдано. Кромвель предпочел войти в историю со всеми своими бородавками⁷, тогда как Людовик XIV предстает перед нами на портретах идеализированным. Конечно, портреты, будучи произведениями имажинативного, основанного на воображении искусства, кардинально отличаются от самих портретируемых персон. Требовать идентичности портрета и портретируемого может только дилетант, ничего не смыслящий в эстетической репрезентации. Подобным образом обстоит дело и в политике: приверженец теории политической репрезентации, основанной на сходстве, полагает (совершенно напрасно), что любое различие между электоратом и его представителем есть признак нарушения «правильной» политической репрезентации. Разумеется, в области политики гораздо труд-

⁶ The Work of Edmund Burke, vol. 2 (Boston, 1866), 95.

⁷ Имеется в виду эпизод, когда Оливер Кромвель приказал художнику написать свой портрет «со всеми бородавками». — *Прим. перев.*

нее увидеть различие между ложной репрезентацией и теми несоответствиями в репрезентации, которые являются вполне естественными и допустимыми. Возможно, именно над этим различием следует поразмышлять избирателю, прежде чем решить, достойно ли представлял его депутат на протяжении четырех лет работы в парламенте. Способность отличать эстетическое (то есть оправданное и допустимое) несоответствие от нежелательных нарушений в репрезентации может служить надежным показателем политической искушенности народа. Политически наивный электорат будет трактовать любое различие между собой и своими представителями как недопустимое искажение; политически ленивый и индифферентный электорат не увидит искажения даже в том случае, если его представители бессовестно нарушили все свои обещания (при реализации этого сценария политика становится похожей на экспрессионистское или абстрактное искусство); политически зрелый электорат сумеет найти *juste milieu*. Из данного определения политической зрелости следует, что человек, которого репрезентируют в парламенте (избиратель), не является некой статической данностью. Он может изменить свое мнение, в том числе и о себе, и о своих политических взглядах в зависимости от того, как за истекший после выборов период времени распорядился своим мандатом депутат, за которого он проголосовал (или партия, которой он отдал предпочтение). Интерактивное взаимодействие между представляемым и его представителем переводит репрезентируемого (избирателя) из разряда жестко очерченных, объективно данных представителей тех или иных социальных типов в категорию более сложных человеческих существ, привередливых и постоянно меняющихся вместе со своим депутатом. Параллель с художественной репрезентацией настолько наглядна, что этот феномен можно считать образцом репрезентации как таковой.

При сравнении знаменитого портрета Карла V кисти Тициана с портретом того же монарха, написанным Барендом ван Орлеем, мы скорее всего предпочтем первую работу, но не потому, что Тициан подошел к идеалу фотографической точности ближе, чем ван Орлей. И Тициан, и ван Орлей писали то, что видели, но они видели разные вещи. Тициан создал портрет короля, который взвалил на свои плечи ответственность за судьбу всего христианского мира, прекрасно осознавая, сколь многое от него зависит; ван Орлей увидел человека, для которого долг правителя еще не стал частью его личности. Не существует Карла V, одинакового для всех, функционирующего как нечто, представленное нам в качестве объективной данности. Репрезентация помогает определить природу того, что в ней репрезентируется: наше отношение к Карлу V определяется в том числе и тем, что мы предпочли портрет Тициана портрету ван Орлея. Возможно, историческая репрезентация иллюстрирует этот феномен еще более наглядно. Не существует Великой Французской революции, одинаковой для Мишле, Токвиля, Лабрусса и Лефевра. Французская революция не дана нам в отвлечении от текстов этих и других историков — хотя я, разумеется, не отстаиваю нелепый тезис идеалистов и постмодернистов, гласящий, что тексты творят прошлое в буквальном смысле слова: я настаиваю лишь на той банальной мысли, что Французская революция, как *репрезентированная*, определяется своими репрезентациями. В более общем виде эту идею можно сформулировать следующим образом: историческая реаль-

ность — как репрезентированная — имеет свое лицо и характер лишь благодаря репрезентациям, которые предложили нам историки.

Эти общие рассуждения помогают понять, почему политическая репрезентация столь важна для демократии. Политическая репрезентация существует не просто для компенсации того обстоятельства, что практически невозможно собрать весь народ на одной огромной площади-агоре для участия в принятии политического решения. Суть дела в том, что без репрезентации нет репрезентируемого; соответственно, без политической репрезентации нет и народа как реального политического единства. А если это так, то данный тезис можно сформулировать в еще более провокативной форме: даже если было бы возможно собрать на одной площади весь народ или достичь той же цели, периодически проводя всеобщие электронные голосования, все равно следовало бы предпочесть репрезентацию. Ибо политическая реальность возникает только тогда, когда народ осознает себя как репрезентированный (представленный). Без репрезентации нельзя говорить ни о какой демократической политике.

Из этого тезиса можно вывести несколько следствий. Прежде всего, мы должны с опаской относиться к прямой демократии. Споры нет, существуют проблемы, которые лучше всего решать на основании мнений, практически не зависящих от количества и качества аргументов, приводимых за (или против) них; подобные проблемы — и только они — должны решаться путем общественного референдума. Например, по вопросу о качестве жизни в том или ином регионе достаточно просто выслушать людей, которые там живут, и подчиниться их выбору. Когда дело касается такого рода проблем, никакие дискуссии и аргументы (сколь бы убедительными они ни были) не заставят людей изменить свое мнение. Политологи установили (сравнительно недавно), что местные чиновники становятся в таких случаях неожиданно чуткими к запросам населения и реагируют на них творчески. Поэтому для решения подобных — относительно локальных и изолированных — проблем могут быть использованы механизмы взаимодействия прямой демократии и бюрократии — *bien étonnée de se trouver ensemble*⁸. Плебисцитная демократия может также оказаться наиболее подходящим средством улаживания тех политических проблем, которые не требуют соотнесения с другими проблемами, учета прошлого опыта и перспектив на будущее. Что же касается репрезентации, то обращаясь к этой процедуре следует в тех случаях, когда мы хотим рассмотреть явление в более широком контексте: репрезентируя прошлое, историк стремится показать своим читателям, что общая картина складывалась из взаимодействия множества частных интересов и точек зрения; нечто подобное можно сказать и о политической репрезентации. Более того, позиции, представляющиеся непримиримыми, могут быть согласованы *только* при помощи репрезентации. Творчество художника локализовано в естественном и исключительном для искусства месте — в сфере, разделяющей искусство и реальность, репрезентацию и репрезентируемое; именно в этой области эстетического «зазора», или различия, творческий гений художника может выразить и реализовать себя в полной мере. Точно так же обстоит дело и в политике: умение политика решать проблемы, отыскивая компромиссные решения, приемле-

⁸ изрядно удивленных тем, что оказались в одной компании (*фр.*).

мые для всех заинтересованных сторон, зависит от его способности переформулировать или «заново воссоздавать» разногласия. Политик должен обладать эстетическим в своей основе талантом репрезентации политической реальности в новом, по возможности оригинальном ключе. Не следует ожидать больших успехов от политика, обладающего способностями фотожурналиста.

В связи с вышесказанным рискну выдвинуть следующий неортодоксальный тезис: эстетический «зазор» в репрезентативных демократиях является ныне скорее слишком маленьким, чем слишком большим. Политика близости — это удел бюрократии. Давайте еще раз присмотримся к картине художника: мы сможем адекватно проинтерпретировать то, что видим, только при условии, если живописное полотно находится на некотором расстоянии от нас. Если мы уткнемся в него носом, все контуры расплывутся, и у нас перед глазами окажутся только бессмысленные мазки. Сходным образом политический смысл может возникнуть только после того, как мы отказались от бюрократической *близости* ради эстетической *дистанции*. Вместо того чтобы попытаться подойти к гражданам как можно ближе, дабы объяснить им, каким образом правительственная бюрократия собирается решать их проблемы, политики должны прилагать все усилия для того, чтобы преодолеть фрагментарность видения политической реальности и возникающие в связи с этим проблемы. Увеличение дистанции (или «зазора», или различия) между избирателями и их представителями проясняет также природу и происхождение легитимной политической власти при репрезентативной демократии. Когда население разделено на две группы, одна из которых репрезентируется, а другая ее репрезентирует, власть коренится, по сути дела, в самой репрезентации, которая и делит, и объединяет население, не принадлежа при этом ни к одной из его групп. При такой структуре власти у нее нет суверена. Иными словами, в условиях репрезентативной демократии легитимная политическая власть является в основе своей эстетической.

Творческий потенциал компромисса

Принято считать, что политика, которая носит эстетический характер, неэффективна и невразумительна, как живопись; многие убеждены, что научная точность, воплощенная в форме универсальной транснациональной финансовой сети и квалифицированной бюрократической экспертизы, — это и есть то, в чем мы сегодня нуждаемся и к чему должны стремиться. «Глобализация» рассматривается не просто как дефиниция определенной экономической реальности, но как сама эта экономическая реальность. Поэтому люди, придерживающиеся подобных взглядов, искренне полагают, что всякая попытка подвергнуть сомнению диктат глобализации во имя национальной репрезентативной демократии — это не просто плохая политика; в их глазах такой подход равносителен отрицанию самой реальности. Чтобы опровергнуть такого рода суждения, начнем со следующего наблюдения: сфера функционирования финансовых сетей (хотя и глобальная по своим масштабам), является несравненно менее широкой, чем область применения гораздо лучше изученных и более традиционных силовых структур — таких, как национальное государство. Эксперт рассматривает каждую подобную сеть

словно бы под микроскопом: чрезвычайно тонкий срез реальности виден ему с максимально достижимой степенью ясности и точности, однако все то, что выходит за пределы этого среза, воспринимается им либо как нечто смутное, либо вообще не воспринимается. И, что особенно существенно, нет такой суперсети, которая объединяла бы все частные сети, и нет таких экспертов, которые были бы способны увидеть всю картину в целом. Из этого следует, что нужда в политическом центре, где гармонизировались и интегрировались бы социальные реальности, созданные различными частными сетями, является столь же — если не более — острой, как и в тех случаях, когда демократия вынуждена решать более приземленные и апробированные задачи примирения враждующих между собой идеологий и интересов граждан. Ибо вполне вероятно, что граждане предыдущей формации лучше знали своих политических противников, чем сегодняшние подразделения глобальных сетей — друг друга. Эти сети обнаруживают тенденцию вести себя так, как если бы они были лейбницевыми монадами без окон. И, подобно тому как не было никакой невидимой руки⁹, взявшей на себя заботу о гармонизации социальных и политических конфликтов, из-за которых демократии оставались на протяжении девятнадцатого-двадцатого столетий расколотыми, — так и сегодня у нас нет оснований для уверенности, что сети будут сотрудничать друг с другом ради всеобщего блага. Поэтому политику не следует рассматривать как род деятельности, который может постепенно сойти на нет, как постылое наследие, доставшееся нам от прежних поколений, еще не владевших доступными нам научными инструментами для построения справедливого и оптимально организованного общества.

Но можно высказать и более фундаментальные соображения на этот счет. Когда сравнивают возможности эксперта и сети, с одной стороны, и репрезентативной демократии, с другой, аргументы в пользу первых зачастую формулируются при помощи таких слов, как *знание*, *реальность* и *истина*: именно науке и технологиям применения научных знаний эксперты и сети обязаны своим авторитетом и окружающей их аурой действенности и эффективности. Однако государство в странах репрезентативной демократии является *репрезентацией* электората, и поэтому его функционирование определяется иной логикой — логикой репрезентации: государство должно сосредоточить усилия на том, чтобы организовать истину в связанное, самосогласованное целое. Ничто так не помогает осознать разницу между *истиной* и *организацией истины*, как взгляд на историческую репрезентацию (поскольку ни в какой другой научной дисциплине логика репрезентации не проявляется столь отчетливо). От историка, «репрезентирующего» прошлое, ожидают уважения к истине (как от портретиста — умения добиться на полотне сходства с моделью), но истина не является решающим критерием качества исторической репрезентации. Ибо, как я показал в других работах¹⁰, репрезентация представляет со-

⁹ Аллюзия к высказыванию Адама Смита, который писал о «невидимой руке», управляющей поведением людей; суть этой теории состоит в том, что рынки работают эффективно сами по себе, на основе саморегуляции. — *Прим. перев.*

¹⁰ См., например, две мои книги: Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. М.: Идея-Пресс, 2003 и *History and Topology: The Rise and Fall of Metaphor*. (Berkeley: University of California Press, 1994). Краткое изложение идей, разрабатываемых в этих книгах, см. в моей статье *Reply to Professor Zagorin*. *History and Theory* 29 (1990): 275–97.

бой, по сути дела, метафорическое предложение по поводу того, как воспринимать тот или иной фрагмент реальности. Выше уже указывалось, что историческая репрезентация есть в основе своей продукт селекции, результат принятого исследователем решения о том, какие утверждения включить в свой исторический нарратив в качестве истинных, а какие исключить из рассмотрения (или оставить без должного внимания), как ложные или несущественные. Каждый историк мог бы предложить читателю гораздо больше утверждений, претендующих на истинность, чем он это делает в конечном итоге; в ходе работы он склоняется к тому, чтобы отобрать такие утверждения, которые, вместе взятые, создали бы ту картину (или образ) прошлого, которая представляется автору наиболее предпочтительной. Аргументы за и против, стоящие за его метафорическим предложением, могут подвергнуться рациональному обсуждению (исторические дебаты нередко протекают очень оживленно), но о самих подобных предложениях трудно сказать со всей ответственностью, истинные они или ложные. Их можно назвать осмысленными, плодотворными, полезными, эвристичными, провоцирующими (или нет), но, в то время как изложенные факты могут соответствовать или не соответствовать действительности, предложение, komponующее их тем или иным образом, не является ни истинным, ни ложным. Еще раз подчеркнем: репрезентация имеет дело скорее с организацией истины, чем с самой истиной.

Чтобы перевести эти наблюдения на язык политики, мы должны сделать два, на первый взгляд, противоречащих одно другому утверждения по поводу взаимосвязи между репрезентируемым и его репрезентацией. Можно сказать, что репрезентация бывает более специфичной, чем репрезентируемое, поскольку *эта* репрезентация является лишь одним из элементов класса всех возможных репрезентаций *этого* репрезентируемого. Однако мы можем взглянуть на проблему с другой стороны и сказать, что репрезентация является более обобщенной, чем то, что она репрезентирует, так как любая репрезентация так или иначе абстрагируется от совокупности конкретных свойств, которыми обладает репрезентируемое. Утверждение, что репрезентация одновременно является и более специфичной, и более обобщенной, чем то, что она репрезентирует, может показаться слишком парадоксальным. Выразимся более аккуратно: репрезентация работает с обобщенностью и специфичностью в режиме, отличном от того режима, в котором с ними работает репрезентируемое.

Если политическая репрезентация оказывается способной предложить нам возможность переформулирования или переопределения политических проблем в новом модусе, то это происходит потому, что подобные проблемы как раз и касаются взаимоотношений между индивидуальным и общим (как правило, в плане интересов). Наблюдается следующая закономерность: конфликты, кажущиеся безусловно непримиримыми на уровне репрезентируемого (конфликтующие между собой группы населения), оказываются вполне примиримыми на уровне репрезентации (законодательное собрание, судебное заседание, кабинет министров). Новый режим во взаимоотношениях между индивидуальным и общим оказывается достаточно ясным и понятным в тех случаях, когда *modus operandi*¹¹ нацелен не на достиже-

¹¹ образ действий (*лат.*).

ние истины, но, скорее, на ее организацию. Возникает ощущение, что занимаясь организацией истины путем репрезентации, мы поднимаемся на более высокий уровень, чем тот, на котором располагается сама истина.

Консенсус и компромисс

Исходя из вышесказанного, остановимся более подробно на том, какое значение могут иметь теоретические рассуждения о политической креативности для общественной практики. Какой из механизмов, входящих в состав сложной машинерии репрезентативной демократии, лучше всего стимулирует политическую креативность? Я уверен, что самый правильный ответ на этот вопрос – политический компромисс (имеется в виду стремление к достижению компромисса в противовес стремлению к достижению консенсуса). Компромисс, как и сама репрезентация, скорее организует знания, чем добывает или пропагандирует их. Компромисс креативен в той же мере, что и репрезентация, и политик, которому удастся сформулировать условия наиболее удовлетворительного и долговременного политического компромисса, есть политик-художник *par excellence*. Что же касается консенсуса, то он губит политическую креативность в той же мере, в какой компромисс ее стимулирует.

Разумеется, Джон Ролз не согласился бы с этим утверждением. В результате проведенного недавно исследования консенсуса и его потенциала для решения политических проблем Ролз пришел к выводу, что консенсус может помочь минимизировать или даже разрешить конфликты и установить стабильный политический порядок, основанный на уважении к правам всех сторон, участвовавших в борьбе. Ролз следующим образом формулирует вопрос, на который собирается дать исчерпывающий ответ:

«Как возможно существование стабильного и справедливого общества, если его граждане, свободные и обладающие равными правами, глубоко разделены конфликтующими и даже несоизмеримыми религиями, философскими и моральными доктринами?¹²»

Главный тезис Ролза, выдвинутый в ответ на означенные трудности, состоит в том, что при разрешении подобных конфликтов не следует затрагивать вопросы, касающиеся тех глубинных аспектов конфликтующих доктрин, которые делают их непримиримыми. Ролз замечает (совершенно справедливо), что если мы нарушим это условие, ситуация только ухудшится, потому что чем более фундаментальные аспекты проблем обсуждают конфликтующие стороны, тем более широкой становится пропасть между ними. В той мере, в какой согласие вообще может быть достигнуто, мы можем рассчитывать на его достижение только «на поверхности»: представляется крайне маловероятным, что, например, кальвинист и кантианец смогут переубедить друг друга на идейном уровне (или, тем более, на уровне первоинтуиций), но легко может случиться, что они обнаружат (возможно, к собственному удивлению) гораздо менее существенные разногласия на том уровне, где каждый из них трансформирует свои убеждения в общественное поведение. При взгляде «снаружи» не так легко отличить кальвиниста от кан-

¹² John Rawls, *Political Liberalism* [Джон Ролз. Политический либерализм.] (New York: Columbia University Press, 1996), 134.

тианца, хотя различие становится очевидным, как только они заводят разговор о таких «внутренних» вещах, как мораль или религиозные убеждения. Ролз хочет воспользоваться этим обнадеживающим фактом для того, чтобы смягчить или предотвратить политические конфликты:

«Поскольку мы стремимся достичь общественного консенсуса на основе справедливости и ввиду того, что никакого политического согласия по острым, дискуссионным вопросам ожидать не приходится, мы обращаемся вместо этого только к тем фундаментальным идеям, которые, как кажется, все мы разделяем, будучи людьми одной политической культуры. Исходя из этих идей, мы разрабатываем концепцию справедливости, с которой, по зрелом размышлении, могут быть согласованы наши глубинные убеждения. После того как такая работа будет произведена, граждане смогут, оставаясь приверженцами своих всеобъемлющих доктрин, отнестись к политической концепции справедливости либо как к правильной, либо как к разумной, в зависимости от того, какие взгляды они исповедуют» (Р. 105; выделено мною — Ф. А.).

Итак, согласно предлагаемому Ролзом плану, начинать следует с наших «всеобъемлющих доктрин» (кальвинизма, кантианства и т.п.) — с тем чтобы установить, в чем они могут мирно сосуществовать на практике. Разделяемые всеми «фундаментальные идеи» могут затем стать 1) основой для достижения дальнейших соглашений и 2) аргументом для «внутренних оппонентов», который поможет убедить их, оставаясь в рамках исходной «всеобъемлющей доктрины», принять эти «разделяемые всеми» идеи в качестве выражения политической справедливости. Этот процесс, который, говоря метафорически, является скорее горизонтальным, чем вертикальным, и есть то, что Ролз называет процедурой достижения «перекрывающего консенсуса» («overlapping consensus»).

Описанная выше процедура, безусловно, является наиболее эффективным и безболезненным способом достижения политического согласия. Ролз подчеркивает, что данный подход не требует, чтобы мы отказались от дорогих нашему сердцу философских, моральных или религиозных доктрин; в то же время поиск «перекрывающего консенсуса» позволяет обнаружить те общие основания, которые мы разделяем с нашими принципиальными оппонентами. И, конечно же, если политический конфликт может быть урегулирован таким путем, ни в коем случае не следует упускать этой возможности. Но проблема состоит в том, что существуют всеобъемлющие доктрины, которые противятся подобной процедуре по самой своей природе. Например, мусульмане-талибы вряд ли согласятся отказаться от Корана как источника всякого законодательства ради тех благ, которые сулит им «перекрывающий консенсус». Разумеется, Ролз осознает всю серьезность этой проблемы. Он пытается обойти ее при помощи оговорки, что процедура достижения консенсуса сработает только в обществе, состоящем из «разумных» граждан, то есть граждан, готовых условно «заклечь в скобки» те аспекты своих всеобъемлющих доктрин, которые не вписываются в перекрывающий консенсус. Однако, исключая из процесса достижения консенсуса сторонников теократии, маоистов и т.п., мы исключаем именно тех граждан, которых нам больше всего хотелось бы привлечь к консенсусу. Складывается впечатление, что описанная Ролзом процедура имеет предпосылкой самое себя; размышляя о ней, трудно

отделаться от ощущения замкнутого круга. Ролз — отдадим ему должное — и здесь осознает, что его теория сталкивается с серьезными трудностями:

«В тех случаях, когда либеральным концепциям — даже если они разработаны вполне корректно, на основе фундаментальных идей демократической политической культуры — приходится иметь дело с непримиримыми столкновениями политических и экономических интересов и когда не существует возможности создать конституционный режим, который смог бы исправить ситуацию, полный перекрывающий консенсус окажется недостижимым» (Р. 168).

На это скептически настроенный оппонент Ролза мог бы ответить, что политику сплошь и рядом приходится иметь дело с «непримиримыми столкновениями политических и экономических интересов» и что его работа в том и состоит, чтобы улаживать конфликты в отсутствие «конституционного режима», который автоматически продиктовал бы ему, как это сделать. Вот и получается, что как только ситуация обостряется и становится интересной в плане реальной политической практики, процедура достижения перекрывающего консенсуса оставляет нас с пустыми руками.

Главное достоинство компромисса состоит в том, что он не страдает указанными недостатками, свойственными консенсусу; однако Ролз не оставляет у читателя сомнений в том, что компромисс оценивается им чрезвычайно низко. Этот автор прилагает большие усилия для того, чтобы мы зарубили себе на носу, что «modus vivendi»¹³ (так Ролз называет компромисс) является, в отличие от возвышенного и благородного перекрывающего консенсуса, предосудительной и низменной практикой. Ролз отстаивает свою точку зрения при помощи двух заслуживающих внимания аргументов. Во-первых, перекрывающий консенсус (опять же в отличие от компромисса) «может быть достигнут на моральных основаниях». Во-вторых, *modus vivendi* представляет собой «простое соглашение о подчинении тем или иным властям или о выполнении определенных, институционально санкционированных договоренностей, основанных на совпадении эгоистических или групповых интересов» (147). С другой стороны, Ролз, как это ни странно, признает первичность (историческую и/или логическую) компромисса по отношению к консенсусу. В ответ на вопрос: «Как мог возникнуть конституционный консенсус?» — он предлагает следующий ответ:

«Предположим, что в какое-то время, в результате стечения исторических обстоятельств и просто ряда случайностей, определенные либеральные принципы справедливости были приняты обществом как простой *modus vivendi* и инкорпорированы в существующие политические институты. Подобное принятие произошло во многом точно таким же образом, каким был принят принцип толерантности как *modus vivendi*, возникший после Реформации — сначала неохотно, но делать было нечего: ведь он представлял собой единственную действительную альтернативу бесконечным и деструктивным гражданским раздорам» (159).

Даже из слов самого Ролза вытекает, кажется, тот вывод, что история предшествует этике: без компромисса не было бы и консенсуса. Иначе говоря, здесь задействованы две сферы рациональности: с одной стороны, существует практическая рациональность, к которой народ (или его политические лидеры) обращается для того, чтобы избежать разрушительных послед-

¹³ образ жизни (*лат.*).

ствий политического конфликта; с другой стороны, существует этическая рациональность, роль которой состоит в том, чтобы продемонстрировать, почему стоящий на повестке дня компромисс приемлем с точки зрения всех заинтересованных сторон.

Почему Ролз отдает предпочтение второму типу рациональности, которая просто кодифицирует то, что уже возникло? Это происходит отчасти потому, что, как показал Г. А. ден Хартог в своей работе о Ролзе и некоторых других современных англосаксонских политических философах¹⁴, такого рода мыслители испытывают «пуританское презрение» к интересам (и, соответственно, почтение к «незаинтересованности»). Конечно, существуют такие «высокие сферы», в которых подобное презрение является оправданным. Базовые политические принципы толерантности, свободы мысли и гражданских свобод ни при каких условиях не должны обмениваться на экономические или финансовые выгоды. Вообще говоря, когда мы размышляем о том, что принято называть основными гражданскими правами¹⁵, у нас действительно не возникает потребности в компромиссе. Но проблемы, связанные с основными правами (если не считать обсуждения таких вопросов, как аборт или эвтаназия), занимают ничтожное место в повестке дня нынешних политических дебатов. Как правило, дискуссии, оказывающие влияние на принятие важных политических решений, касаются совсем других вопросов: куда инвестировать больше денег, в образование или национальную безопасность? какие средства вкладывать в развитие инфраструктуры? как бороться с преступностью, посредством увеличения количества полицейских или при помощи программ социальной интеграции аутсайдеров? как реагировать на загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями и транспортными средствами? как лучше бороться с безработицей? и т.д. Любая попытка переформулировать такого рода проблемы в категориях прав человека попросту исключит возможность их решения.

Избирательное сродство между предложенной Ролзом моделью перекрывающегося консенсуса и лексиконом основных политических прав фактически свидетельствует о неадекватности этой модели. Вопрос о правах человека служил главной темой для политической философии, опиравшейся на идею естественного закона; эта идея была господствующей в семнадцатом-восемнадцатом столетиях, потому что ее обсуждение давало ответы на вопросы, бывшие тогда актуальными. Во-первых, концепция естественных прав предлагала лучшие средства для защиты гражданских свобод, чем произвольная и непостоянная протекция со стороны отдельных влиятельных лиц и ассоциаций, выражавшаяся в привилегиях, традициях или договоренностях в духе феодальных порядков. Во-вторых (этот момент особенно важен), мы должны осознавать, что вплоть до девятнадцатого века очень немногие видели в государстве креативную институцию. По сути дела, в те времена от государства не ожидали ничего, кроме ведения международной политики и войн;

¹⁴ G. A. den Hartogh, «Waarheid en consensus in de politieke filosofie van John Rawls,» *Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte* 84 (1992): 93–121, 117.

¹⁵ Я употребляю выражение «то, что принято называть основными правами», поскольку мы не должны забывать, что даже эти права ведут свое происхождение от того, что изначально было просто компромиссом.

представление о креативном государстве, берущем на себя заботу о переустройстве общества, вызвало бы у граждан XVIII столетия такое же удивление, какое вызвала бы у иллюстратора средневековых рукописей ренессансная перспектива. Суть дела не столько в том, что представление Ролза о консенсусе и его общая политическая концепция неправильны, сколько в том, что они неактуальны. Ролз оказался бы очень интересным собеседником для теоретиков семнадцатого века — таких, как Томазиус, Локк или Бейль, — но не для представителей более поздней когорты политических философов, размышлявших о моральных и политических последствиях установления того нового, чрезвычайно сложного и постоянно изменявшегося политического порядка, который был вызван к жизни промышленной революцией.

Политический лексикон Ролза предлагает нам осмысливать в категориях базовых прав политические проблемы, требующие совершенно иного подхода. В той мере, в какой работы Ролза оказывали практическое воздействие на политику, они содействовали усилению характерной для Америки тенденции рассматривать закон как парадигму всей политики. Ролз внес свой вклад в формирование такого положения вещей, при котором юриспруденция (то есть сфера правоприменения) доминирует над законодательной и исполнительной властью. Общество, которое пытается юридическими средствами решать вопросы, являющиеся по своей природе политическими, неизбежно оказывается слепым (точнее, самоослепленным) перед лицом наиболее животрепещущих проблем современности. В данном контексте может оказаться полезным противопоставление «прав» и «интересов». Интересы не подвластны законодательству, хотя после того как конфликт интересов (например, конфликт между капиталом и трудом) обретает зримые очертания, можно создать законодательство, предусматривающее его урегулирование. Интересы — это, если можно так выразиться, права *in statu nascendi*¹⁶. Очень многое (если не все) из того, что является, с политической точки зрения, новым, неожиданным, непредвиденным и непрогнозируемым, первоначально проявляется в форме интересов и уж никак не в форме прав или судебных казусов. Иногда только благодаря конфликту очевидна необходимость что-то исправить в политической системе путем принятия общественно важного решения. Конфликт интересов открывает нам доступ к социальной реальности; без него мы были бы слепыми в политическом отношении. Лексикон прав не предоставляет нам этого доступа: он выражает определенную концепцию социального порядка, которая, однажды сложившись, больше не проверяется на соответствие действительности.

Иными словами, компромисс подводит нас гораздо ближе к тому, что действительно происходит в политической жизни, чем это делает консенсус. Как заметил Берк, «это очень большая ошибка — воображать, что люди следуют на практике какому-нибудь абстрактному принципу, будь то принцип подчинения или свободы, когда дело доходит до реального конфликта или логического вывода. Если мы проанализируем любое общественное устройство, любой способ получения выгоды и удовольствия, любой благора-

¹⁶ в процессе зарождения (*лат.*).

зумный поступок, то легко убедимся, что все эти явления основаны на компромиссе и обмене. Мы уравниваем наши неудобства удобствами; мы даем и берем; мы поступаемся кое-какими правами с тем, чтобы получить возможность наслаждаться другими; и мы предпочитаем быть скорее счастливыми гражданами, чем остроумными полемистами»¹⁷. Скажу больше: компромисс по природе своей предполагает терпимость, доверие и надежность, основанные на уважении к *другому* как субъекту моральной автономности¹⁸. Компромисс гораздо лучше, чем консенсус, содействует развитию этих качеств, потому что консенсус (особенно в трактовке Ролза) не заставляет нас покидать сферу рационального и оправданного в наших глазах. Самое большее, на что способен консенсус, — это вызвать смещение центра тяжести нашего политического универсума, но он не требует (как это делает компромисс), чтобы мы вышли за пределы этого универсума. Компромисс социализирует, в то время как консенсус оставляет нас такими же обособленными индивидами, какими мы были до его достижения.

Нередко приходится слышать утверждения, что компромисс несовместим с этической целостностью, что стремление к компромиссу характерно для «нравственных хамелеонов» и является признаком оппортунизма, самобмана и лицемерия¹⁹, — если не кое-чего похуже²⁰. Но это обвинение имеет смысл только в том случае, если мы воспринимаем моральный порядок как квазиматематическую систему, дедуктивно выведенную из не подлежащих обсуждению первопринципов. Зрелые граждане, действующие в условиях зрелой политической культуры, понимают, что сложность и парадоксальность

¹⁷ «On Conciliation with the Colonies», in *Speeches and Letters on American Affairs*. London: J. M. Dent & Sons, 1908; reprinted 1956), 130–31.

¹⁸ В данном контексте небезынтересно вспомнить о новаторских идеях Роберта Патнэма, сформулированных в его известной книге Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии / М.: Ad Marginem, 1996. В тех регионах Италии (особенно на юге страны), где гражданские традиции наименее развиты, наблюдается недоверие к компромиссу: «пойти на компромисс со своим политическим оппонентом опасно, потому что это обычно приводит к предательству твоих собственных соратников». С другой стороны, «политики в регионах с более давними гражданскими традициями не отрицают реальности конфликтующих интересов, но они не боятся созидательного компромисса» (105; см. также 115). Готовность к компромиссу является надежным признаком зрелости политической культуры.

¹⁹ Вспомним проведенный Ханной Арендт (наиболее стимулирующий по данной теме) анализ лицемерия и его роли в политической мысли восемнадцатого века и периода Великой Французской революции (когда лицемерие рассматривалось Робеспьером и его соратниками-якобинцами как наихудший политический порок, единственным адекватным ответом на который может быть только гильотина). Согласно Арендт, «что позволяет нам так легко принять тезис о лицемерии как матери всех пороков, так это то, что цельность и в самом деле может существовать под покровом всех пороков, кроме этого. Это правда, что только преступление и преступник повергают нас в полную растерянность, ставя перед лицом радикального зла; но только лицемер действительно прогнил до мозга костей». (On Revolution. [London. Penguin, 1990], 103). Именно этим лицемер отличается от человека, стремящегося к достижению компромисса, ибо компромисс, в отличие от консенсуса, не требует от нас отказа от политических и нравственных убеждений; поэтому он с меньшей вероятностью может послужить приглашением к лицемерию (как понимает его Арендт), чем консенсус.

²⁰ Martin Benjamin, *Splitting the Difference: Compromise and Integrity in Ethics and Politics*. [Мартин Бенджамин. Расщепление различия: Компромисс и цельность в этике и политике.] (Lawrence: University Press of Kansas, 1990), 8, 46–48.

общественно-политической жизни противятся этой упрощенческой концепции моральной истины²¹. Человек, готовый всерьез рассматривать альтернативные точки зрения, не боящийся пойти на риск обсуждения собственных взглядов и, в конечном итоге, на компромисс со своими оппонентами, является в нравственном отношении более достойной личностью, чем тот, кто видит в компромиссе предательство истины. Кроме того, как этический, так и идеологический конфликт вполне может проявиться в сознании отдельно взятого человека (как уже было сказано выше, подобная амбивалентность является не исключением, а правилом для гражданина демократической страны); в таких случаях необходимость найти оптимальный компромисс между несоизмеримыми ценностями становится еще более очевидной и насущной. И, наконец, самое важное: сравнивая консенсус и компромисс, мы убеждаемся в том, что в консенсусе находит отражение скорее статический, чем динамический, аспект политики. Ролз (при всем уважении к Ричарду Рорти²²) интересуется *фундаментом* политического порядка, выраженным в категориях конституционных прав и свобод, но не тем, что может быть *построено* на этом фундаменте. Репрезентативная демократия в континентальной Европе основана, как уже говорилось в начале статьи, на признании политиками (в условиях, сложившихся после 1815 года) того факта, что даже при абсолютной недостижимости консенсуса политическое решение должно быть найдено — несмотря ни на что и во что бы то ни стало; компромисс оказался единственным выходом из этой, представлявшейся тупиковой, ситуации²³. В историче-

²¹ Беньямин придерживается в этом вопросе того подхода, который был разработан Томасом Нейджелом. См. Nagel, *Mortal Questions*. (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

²² Будучи мыслителем постмодернистской ориентации, современный американский философ Ричард Рорти (вслед за Делёзом) отдает предпочтение «поверхности» перед «глубиной». — *Прим. перев.*

²³ Это признание является заслугой либералов-«доктринеров» [«доктринеры» — влиятельная группа умеренных французских либералов первой половины XIX в., в которую входили П. П. Ройе-Коллар, Ш. Ремюза, П. де Барант и др. В период Реставрации лидером этой когорты единомышленников считался Ройе-Коллар. Позднее к ним присоединился Гизо, став наиболее яркой фигурой в группе. Именно с его именем идентифицируют само ее название — «доктринеры». — *Прим. перев.*], которые сделали очень многое для установления во Франции репрезентативного правления. Размышляя о том, благодаря чему им удалось этого добиться, Гизо заметил: «революция была не чем иным, как ошибкой и преступлением, говорили одни, и старый режим имел все основания с ней бороться; революцию не в чем упрекнуть, кроме эксцессов, говорили другие, ее принципы были хороши, просто она переусердствовала в их осуществлении и злоупотребила своими правами. Доктринеры отвергли оба этих утверждения; им приходилось защищаться от упреков как в возвращении к максимам старого режима, так и в приверженности (хотя и только теоретической) революционным принципам. ... Вынужденные поочередно то нападать на революцию, то защищать ее, они поставили себя, отважно и без колебаний, в интеллектуальную позицию, требовавшую выдвижения одних принципов против других и апелляции не только к опыту, но и к разуму. ... Именно благодаря этому сочетанию возвышенной философичности и политической умеренности, благодаря рациональному уважению к правам и эмпирическому вниманию к многообразию фактов, благодаря доктринам, одновременно новым и консервативным, антиреволюционным, но не впадающим в ретроградство ... доктринеры сохраняют для нас свое значение и заставляют помнить о себе». Цитируется по: Pierre Rosanvallon, *Le moment Guizot*. (Paris: Gallimard, 1985), 27. Трудно найти более яркий пример ситуации, требовавшей компромисса, и типа политического мышления, полностью отвечавшего этому требованию.

ском плане компромисс и репрезентативная демократия связаны между собой неразрывными узлами.

Консенсус в основе своей консервативен и, вследствие этого, не креативен: ничего такого, чего уже не присутствовало бы ранее в позициях конфликтующих сторон, не может возникнуть из предлагаемой Ролзом процедуры достижения перекрывающего консенсуса. (Хотя следует признать, что в процессе реализации «взаимоперекрывания» враждующих между собой позиций в политическую реальность может быть внесено нечто новое). Но поскольку политику «на роду написано» добиваться сотрудничества даже тогда, когда ни о каком консенсусе не может быть и речи, стремление к компромиссу может заставить политика идти новыми, еще не проторенными путями²⁴. Когда рекомендуемая Ролзом процедура терпит крах, в политических позициях оппонентов поневоле должно возникнуть некое принципиально новое качество. Во-первых, потому, что поскольку прежние усилия не позволили выработать основу для политического сотрудничества, становится очевидным, что для его достижения требуются новые подходы. Во-вторых, оттого, что пока прежние позиции остаются ощутимыми и легко узнаваемыми в достигнутом компромиссе, каждая из политических партий может провозгласить себя победительницей и тем самым радикально ослабить поддержку компромиссному предложению. Из этого следует, что чем более новаторским и творческим будет компромисс, тем охотнее будут его поддерживать все заинтересованные стороны. При работе над достижением политического компромисса каждая партия всячески заинтересована в том, чтобы ее окончательная позиция как можно меньше напоминала первоначальную. Важно понять, что в подобных случаях мы имеем дело не с предательством, а с метаморфозой. В результате творческого процесса, который мы называем компромиссом, может возникнуть новый политический мир. И, как пишет Дж. Х. Каренс, «чем более сложной является проблема, тем больше вероятность, что самое интегративное решение возникнет из креативного мышления подобного типа»²⁵.

Кажется, не существует примера, который более ярко продемонстрировал бы преимущества компромисса, чем те «социальные государства», которые образовались в некоторых странах европейского континента после Второй мировой войны. Борьба между капиталом и трудом завершилась в них посредством компромисса, который позволил обеспечить европейским промышленным рабочим материальное благосостояние и в то же время оставить неизменной сущность капиталистического способа производства. Ни в концепциях капитализма, ни в социалистических учениях не ставилась цель создания «социального государства» — ни в явном, ни в скрытом виде. Это была принципиально новая идея, противостоявшая обеим господствовавшим в то время идеологиям. Если социальное государство, с его системой социального обеспечения, лучше развито в континентальных, чем в англосаксонских демократиях, то можно не сомневаться, что этим они обязаны (по крайней мере, отчасти) тому факту, что коалиционные правительства стран

²⁴ Однако никакие «новые» политические реальности не возникают в тех случаях, когда компромисс сводится к процедуре заключения сделок по принципу «ты мне — я тебе», т. е. когда одна сторона отказывается от ряда своих требований в обмен на отказ другой стороны от своих.

²⁵ Ibid, 128.

европейского континента больше полагаются на компромисс, чем англосаксонские однопартийные кабинеты. И, конечно, это не случайность, что хвалебная песнь консенсусу (внимательно проанализированному в данной статье) пропета не европейцем, а англосаксонским политическим философом.

Хвалебная песнь репрезентации, гимн компромиссу

Перед лицом проблем нового типа, которые пришли на смену угрозе гражданской войны и выдвинулись на первые позиции в нынешней повестке дня (это как раз те проблемы, которые репрезентативная демократия, так сказать, ввела в обиход), главную опасность представляют для нас сегодня три искушения: установление прямой демократии, перекалывание ответственности за принятие решений на экспертов (будь то специалисты, делегированные от корпораций или от бюрократии) и погоня за консенсусом. Каждое из этих искушений чревато (для тех, кто не устоит перед ними) тяжелыми последствиями, о которых уже шла речь выше. Поэтому я предлагаю двигаться в противоположном направлении: мы должны сделать нашу репрезентативную демократию еще более репрезентативной, то есть более отвечающей эстетическому критерию оценки. Я полагаю, что нам следует стремиться к тому, чтобы эстетический зазор между репрезентируемым и репрезентирующим стал более широким (а это значит, что наши представители в законодательном собрании должны стать менее чуткими к каждодневным требованиям своих избирателей и более восприимчивыми ко всей картине в целом) с тем, чтобы увеличить спектр возможностей для проявления политического артистизма, то есть оставить больше пространства для творческого компромисса. Давайте выбирать депутатов, менее похожих на нас самих, более внимательных к композиции и форме (к творческой организационной комбинаторике), — вместо того, чтобы отдавать свои голоса тем, кто морочит нам голову, обещая неизменно занимать твердую позицию и одерживать победу за победой. Репрезентативная система правления — это не упражнения в поисках или утверждении истины; скорее это практика принципиальной непринципиальности, работа по выявлению возможностей достижения согласия и по организации «истин» (то есть по включению их в такие «политические композиции», которые казались прежде немислимыми). Именно благодаря эстетическим качествам компромисса репрезентативная — артистически представляющая свой народ — демократия может оказаться способной найти квадратуру нынешнего, похожего на мертвую петлю, круга нашей политической истории.

Перевод с английского Иосифа Фридмана

По изданию: COMMON KNOWLEDGE, 2002, том 8, выпуск 1
ПЕРЕВОД И ПРАВА НА ПУБЛИКАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «РУССКИМ ЖУРНАЛОМ»